О БУРЖУАЗНОЙ ЕВРОПЕ

СТАТЬЯ ИЗ НЕЗАВЕРШЕННОГО ЦИКЛА СЕРЕДИНЫ 1850-х ГОДОВ

Предисловие Я. Эльсберга
Публикация и перевод Л. Ланского*

Эта черновая, неоконченная, недоработанная, содержащая ряд неясных мест и оставшаяся в свое время неопубликованной рукопись Герцена из «пражской коллекции» перекликается с некоторыми другими, более поздними его произведениями 50-х годов и частично была в них использована. Но, вместе с тем, рукопись эта обладает чертами замечательного своеобразия. В литературном наследстве Герцена, относящемся к этим годам, нет другого документа, в котором с такой силой проявлялись бы мотивы исторического оптимизма, боровшегося с тем пессимизмом и скептицизмом, которые охватили Герцена после поражения революции 1848 года.

Нетрудно убедиться, что основные, наиболее принципиальные положения рукописи получили затем развитие в том датированном 1 октября 1855 г. добавлении к «Западным арабескам», которое в «Былом и думах» было названо «Post scriptum», а впервые было опубликовано без заглавия во второй книжке «Полярной звезды» на 1856 год (в оглавлении «Полярной звезды» это дополнение было обозначено как «Примечания»).

Легко провести ряд параллелей между рукописью «пражской коллекции» и «Post scriptum'ом». Так, например, в начале рукописи говорится: «Мы изучали Европу по книгам...»; в начале же «Post scriptum'а» Герцен заявляет: «Мы вообще знаем Европу школьно, литературно ⟨...⟩, а судим à livre ouvert, по книжкам и картинкам...» (XIII, 390).

Далее, очень близка характеристика буржуазной морали в рукописи и в «Post scriptum'е», а также ироническое определение принципа всеобщей подачи голосов как «арифметического источника» — в рукописи и «арифметического знамени» — в «Post scriptum'е» (XIII, 394).

Последние две фразы рукописи почти совпадают со следующими словами из «Post scriptum'а»:

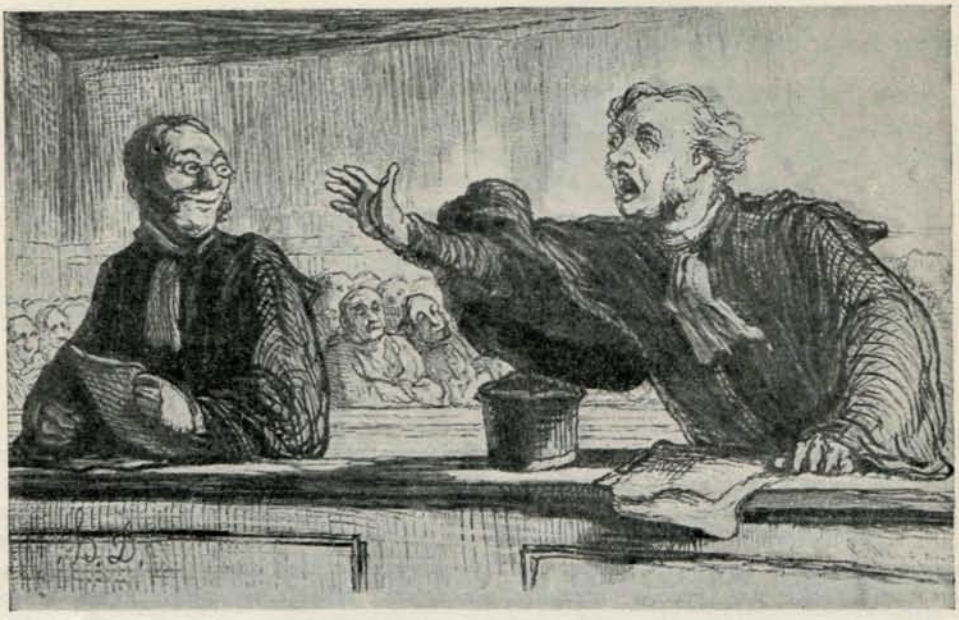
«Щель, сделавшаяся между партером и актерами, прикрытая сначала ливючим ковром ламартиновского красноречия, делалась больше и больше; июньская кровь ее размыла — и тут-то раздраженному народу поставили вопрос о президенте. Ответом на него вышел из щели, протирая заспанные глаза, Людовик-Наполеон...» (XIII, 394).

Бесспорно, что «Post scriptum» отличается, по сравнению с рукописью, большей категоричностью и четкостью основных исходных положений, определяющих историко-философские воззрения Герцена, большей остротой и меткостью памфлетных характеристик буржуазии, ее политики и морали, наконец, литературной отделкой и блеском.

Однако в «Post scriptum'е» исчезли очень существенные ноты, которые как раз и придают вновь найденной рукописи особенно большое значение.

---

* В переводе использован ряд слов и выражений Герцена, заимствованных из его русских статей на аналогичные темы, где встречаются прямые текстуальные совпадения с публикуемой статьей.



ПАРИЖСКИЕ АДВОКАТЫ

Гравюра по рисунку О. Домье, 1848 г.

«Судьи и адвокаты, как и следует, были в маскарадных платьях...» («Письма из Avenue Marigny». Письмо 4-е)

«Духовный крах», пережитый Герценом после поражения революции 1848 года, не означал, разумеется, что великий русский мыслитель остановился в своих идейных исканиях. Как показывает даже такая пессимистическая книга, как «С того берега», Герцен вновь и вновь взвешивал те скептические выводы, к которым он приходил, вдумываясь в пути общественного развития западноевропейских стран. Он никогда полностью, до конца, не терял веру в западноевропейский пролетариат, в народные массы Запада, хотя многие его высказывания и, в частности, те, которые содержатся в «Post scriptum'е», и казались безнадежно скептическими.

И вот именно ноты оптимизма, порой лишь прорывающиеся сквозь общую скептическую концепцию, но драгоценные для уяснения всей сложности идейного пути Герцена, его неустанного стремления вперед, представляют в данной рукописи особенно большой интерес.

Герцен здесь в следующих выражениях определяет относительную прогрессивность смены феодального общества — обществом буржуазным: «С точки зрения общей экономики, переход феодального общества в общество буржуазное является неоспоримым прогрессом. Борьба и развитие перенесены на реальную почву, на землю, мир фантазеров и мечтателей начинает просыпаться; часть человечества отрезвляется, все упрощается...». Эта мысль совершенно исчезает в «Post scriptum'е» и вновь появляется лишь в произведениях Герцена 60-х годов.

Вместе с тем Герцен, продолжая и развивая сопоставления, которые встречались еще в «Письмах из Avenue Marigny» (превращения Фигаро), с презрением говорит о политическом и моральном падении буржуазии, некогда боровшейся против феодализма. «Энергичный борец,— пишет Герцен,— становится вскоре заурядным хозяином. Во время борьбы круглая шляпа и черная одежда Франклина торжественно заменяют вышитую одежду и шляпу с перьями; во время борьбы „Гражданин" был велик и прекрасен на трибуне, на площади, с ружьем в руке, с головой под ножом гильотины... и отправляясь с „Марсельезой" на устах. Победитель пробуждается — коронованным Санчо-Пансо».

Следует особо отметить это противопоставление Франклина буржуазной Америке середины XIX в.; сурово-обличительные высказывания об Америке не раз встречаются в работах Герцена пятидесятых-шестидесятых годов.

Эта нота исторического оптимизма не единична в рукописи. Давая характеристику «глубины морального упадка» буржуазии, Герцен зачеркнул следующие первоначально написанные им слова: «Разве, по-вашему, этих симптомов недостаточно, чтоб объявить о полном разложении — либо буржуазный дух погибнет, либо Европа. Что касается меня — я еще верю в старушку».

Совершенно очевидно, что Герцен возлагает свои надежды на революционные и социалистические силы Западной Европы. Он пишет в рукописи: «Буржуазный либерализм представляет собою лишь освобождение собственника, ⟨буржуазная⟩ демократия — лишь внешнее уравнивание: она признает право пролетариата на собственность, не давая ему средств, провозглашает равенство преступников перед судом, предоставляя невинным устраиваться как им угодно». Либерализм и демократизм Герцен называет здесь двумя «друг друга отрицающими началами».

В рукописи, таким образом, встречаются более оптимистические противопоставления народных масс Западной Европы и буржуазии, нежели в «Post scriptum'е». Правда, и в рукописи Герцен следующим образом характеризует борьбу, происходящую внутри буржуазного общества: «С одной стороны — собственник, не желавший ничего уступать из того, что он захватил, per fas et nefas, с другой — демократы, которые

«ФРАНЦИЯ СПАСЕНА». БУРЖУА ПОСЛЕ ПОДАВЛЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ВОССТАНИЯ

«L'Illustration» от 8 июля 1848 г.

«Я видел... плотоядное свирепое самосохранение со стороны мещан... Страшный кровавый бой... был за плечами» («Былое и думы», гл. «1848»)

желают все отобрать у собственника, не посягая на право собственности. С одной стороны — *Скупость*, с другой — *Зависть*». Однако в «Post scriptum'е» эта мысль получает гораздо более резкое, обобщающее и пессимистическое выражение: «Все партии и оттенки мало-помалу разделились в мире мещанском на два главные стана: с одной стороны, мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой—неимущие *мещане*, которые хотят вырвать из их рук их достояние, но не имеют силы, то есть, с одной стороны, *скупость*, с другой—*зависть*. Так как действительно нравственного начала во всем этом нет, то и место лица в той или другой стороне определяется внешними условиями состояния, общественного положения» (XIII, 393).

В рукописи не вполне ясно, кого именно Герцен разумеет, говоря о «демократах», как будто речь идет только о политических представителях буржуазной демократии. В «Post scriptum'е» же понятие «неимущие мещане» оказывается чрезвычайно широким и предвещает позднейшую крайне пессимистическую герценовскую формулу: «работник всех стран — *будущий* мещанин» (XV, 248).

Таким образом, не вызывает сомнения важное значение публикуемого документа для понимания идейного развития Герцена и того сложного переплетения противоречивых элементов, которое характеризует его мировоззрение в этот период.

Рукопись была впоследствии использована Герценом не только в «Post scriptum'е».

Сопоставление Барнума, американского дельца-антрепренера, который, по мысли Герцена, является воплощением циничной прозы буржуазного общества, и Ораса, героя одноименного романа Жорж Санд, носителя лицемерно-риторической «поэзии» этого строя, получило развитие в очерке-фельетоне 1856 г. — «Оба лучше».

Характеристика литературы «публичных мужчин», т. е. автобиографий и мемуаров разного рода предателей и шпионов — Де-Ла-Года, Шеню, Шнепфа и других, встречается также в 1856 г. в главе «Былого и дум», посвященной «лондонской вольнице».

Некоторые мысли об отношении русских передовых людей к западноевропейским Орасам, изложенные в рукописи, перекликаются с главами «Былого и дум», рассказывающими о семейной драме Герцена, особенно с «Тифоидной горячкой».

В этой связи следует отметить сатирическую характеристику петербургской космополитической бюрократии «смешанной крови», являющейся, по определению Герцена, «плодом нечистого скрещивания авантюристов всех наций, целые поколения которых набросились на Россию еще во времена Петра I и его преемников»; это «существа без родины, раболепные и терзаемые завистью...».

Противопоставляя эту бюрократию русскому народу, Герцен называет ее «„Сан-Марино" развращенности». Сравнение с карликовой республикой, расположенной в Северной Италии, поясняет мысль Герцена о ничтожном удельном весе этого бюрократического слоя в русской национальной жизни.

Точная датировка рукописи затруднительна; следует полагать, что она была написана не ранее начала 1854 г. и не позже, чем «Post scriptum», т. е. до 1 октября 1855 г.

Уточнению датировки может помочь выяснение того лица, к которому это «открытое письмо» (часто встречающаяся у Герцена форма) обращено. Из вводной части рукописи очевидно, что адресат — русский, впервые оказавшийся за границей, писавший Герцену и притом во многом присоединяющийся к той пессимистической оценке, которую он дает общественной жизни, политике и морали Западной Европы.

Среди немногих русских, посещавших Герцена в Лондоне в 1853—1855 гг., наиболее соответствует указанным признакам некий Бодиско, который не раз упоминается в герценовских письмах 1853—1855 гг. к М. К. Рейхель. В эти годы он довольно много времени провел за границей. В письмах он обозначен по большей части «Б.», «Бод.» или «путешественник».

Упоминания в письмах Герцена от 5 февраля 1854 г. и 31 декабря 1855 г. о поездке Бодиско в Америку, в Вашингтон (VIII, 6 и 255) позволяют думать, что речь идет о Василии Константиновиче Бодиско, дядя которого, А. А. Бодиско, занимал пост русского посланника при правительстве США («Русский биографический словарь»). В. К. Бодиско, московский знакомый Герцена, Огарева, Кетчера, а также Салтыкова-Щедрина, был двоюродным братом Грановского и неоднократно упоминается в его письмах («Т. Н. Грановский и его переписка», т. II. М., 1897, стр. 302).

PREMIÈRE LETTRE

Cher ami,

Votre lettre ne m'a pas étonné — je vous y attendai — car j'ai passé moi-même par les mêmes épreuves. Vous vous trouvez comme dépaysé dans l'Occident, vous n'y trouvez ni les hommes, ni les choses, comme vous y attendiez. C'est très naturel, mais cela ne doit pas trop durer. Après avoir rendu à la passion ce qui est à la passion, rendons aussi sa part à la logique et à l'analyse.

Et d'abord, est-ce que l'Occident est responsable de ce qu'il ne correspond pas aux notions que nous nous faisons de lui; aussi peu que nous de les avoir — tout cela n'est pas arbitraire et tient à des causes générales.

Nous avons étudié l'Europe dans les livres, et pendant que nous *la* lisions, elle se métamorphosait, au moins quant à la croûte, et malheureusement nous ne voyons, nous ne connaissons que cette croûte, ce qui se passe dans les entrailles, dans les profondeurs de la vie populaire, nous l'ignorons, le peuple l'ignore aussi.

Les masses n'avaient pas été entraînées sérieusement dans le mouvement, elles s'agitaient comme le blé s'agite sous l'action du vent, fléchissant de côté et d'autre, mais n'abandonnant pas son sol.

Dans notre notion sur l'homme de l'Occident entrent des éléments parfaitement vrais — mais n'existant plus ou ⟨qui⟩ sont complètement altérés.

La fierté chevaleresque, la grâce aristocratique, la gravité austère du protestant, la sombre énergie des révolutionnaires, la vie somptueuse des artistes en Italie, la vie de méditation et d'idéalisme du poète — tout cela s'est fondu et a presque disparu en un ensemble d'autres moeurs... *de moeurs bourgeoises*.

Elles dominent le monde au point que la classe sénile de l'aristocratie et la classe des mineurs éternels, des travailleurs, qui entre en ses droits, se hâtent de les accepter. Nobles et prolétaires veulent être bourgeois par la manière de vivre.

Du point de vue de l'économie générale la transition de la société féodale à la societé bourgeoise est un progrès incontestable. La lutte et le développement sont transplantés sur un sol réel, sur la terre; le monde des lunatiques et des visionnaires commence à se réveiller; une partie de l'humanité se dégrise, les choses se simplifient; l'aristocratisme de la noblesse était dans l'imagination et dans le sang, l'aristocratisme de la bourgeoisie ⟨est⟩ dans le coffre-fort. [Il fallait tuer le premier, il suffit de prendre chez l'autre.]

Le mot de «classe moyenne» exprime avec une grande plasticité le sens intermédiaire de la bourgeoisie, non seulement qu'elle est entre l'aristocratie et le peuple, mais ⟨qu'⟩ elle est entre le passé et l'avenir. Ne pensez pas que je veuille dire par* cela qu'elle est *le présent* par excellence, tout au contraire, elle est ballotée entre un avenir qu'elle désire et qu'elle craint et un passé qu'elle déteste et ne peut quitter. Un pas en avant et elle rencontre au lieu de Luther — Müntzer, au lieu du libéralisme — le socialisme. Un pas en arrière et elle heurte la monarchie féodale qu'elle n'aime pas, et l'aristocratie nobiliaire qu'elle hait.

Dans un cas pareil il n'y a pas de solution active, il y a le juste milieu, neutralisation des opposés, pondération des pouvoirs, c'est-à-dire leur annihilation. La vocation active de la bourgeoisie était presque entièrement d'opposition — et c'est là qu'était sa force et sa beauté — qu'y a-t-il de plus beau que la bourgeoisie flamande du temps de la Réforme. Quant au principe positif créateur — il était bien pauvre [c'est la religion de la propriété.] C'est pour cela aussi que son haleine était très courte. Le lutteur

* *В подлиннике:* pour

énergique devient de suite maître vulgaire. [Il est beau, renversant le trône mystique, il est détestable lorsqu'il se met sur ce trône; on voit qu'il n'a jamais été élevé pour être roi.]

Pendant la lutte le chapeau rond et l'habit noir de Franklin remplacent solennellement l'habit brodé et le chapeau avec le plumage; pendant la lutte le «Citoyen» était grand et beau sur la tribune, sur la place publique, le fusil à la main, la tête sous le couperet... et partant avec la Marseillaise en bouche.

Le vainqueur se réveille — Sancho Pansa couronné.

Non, non, vous n'êtes plus ma Lisette!
Vous en riche toilette!
Vous avec une aigrette!..

...La signification passée — ne donne en histoire aucun droit à l'héritage.

La noblesse, elle aussi, elle était très belle, elle était un progrès, pour son temps, et le Chevalier, le défenseur armé de l'indépendance personnelle et de la dignité individuelle — était un digne successeur des citoyens slaveholders de Rome.

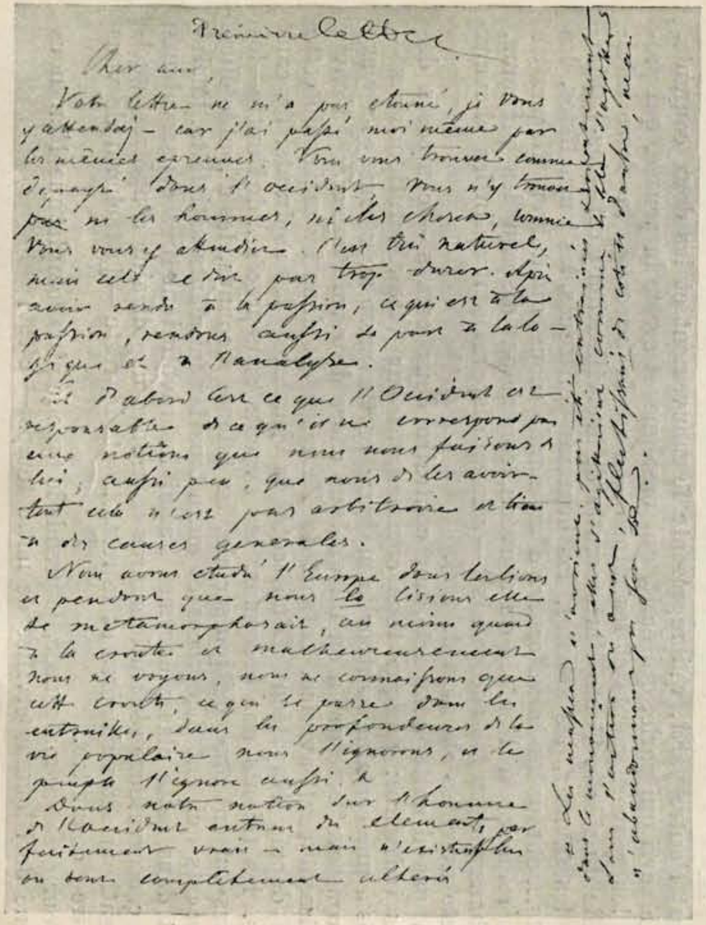
Le développement, comme la nature, ne savent pas ce que c'est ⟨qu'⟩ une sinécure de reconnaissance; qu'y a-t-il de plus beau que les pétales d'une fleur; mais elles tombent et se dessèchent dès que le but est atteint.

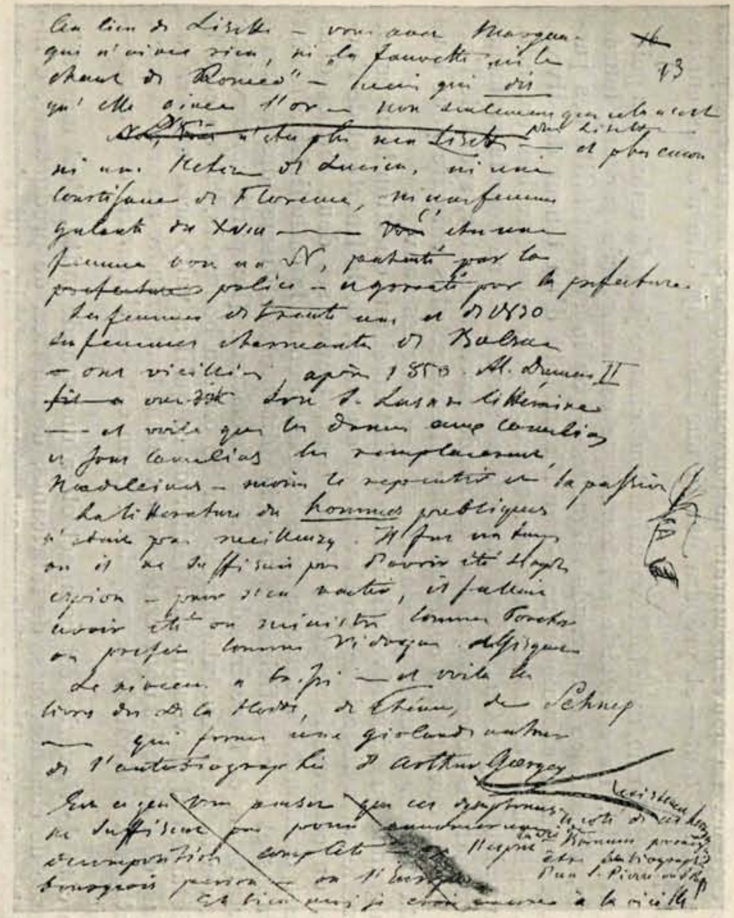
[La bourgeoisie comme classe gouvernante s'est montrée au dessous de toute atténte.] Des grandes questions posées par la Révolution la bourgeoisie n'en a résolu pas une seule, elle les a simplifiées en éliminant l'élément aristocratique, elle les a mises en demeure, suspendues pour un temps — par des solutions qui n'étaient ni franches, ni vraies. «Laissez faire, laissez passer»... et avec cela toute la règlementation centralisatrice et monarchique. Le libéralisme bourgeois — ne représente que l'affranchissement du propriétaire, la démocratie — qu'un nivellement extérieur — elle reconnaît le droit à la propriété du prolétaire, sans lui donner les moyens, et proclame l'égalité des scélérats devant le tribunal, laissant les innocents s'arranger comme ils le désirent. Les deux négations — libéralisme et démocratie — ne sont jamais parvenues qu'à bâtir des barraques provisoires, faire un peu «d'ordre dans le désordre», comme l'a si naïvement dit un des représentants de la Démocratie bourgeoise — Caussidière.

Il fallait créer une nouvelle morale... Car la morale [est tout-à-fait historique] n'est rien autre, que la conscience historique du rapport *actuel*, existant, des hommes entre eux, reconnu, senti par eux dans un temps donné — c'est la définition [historique], temporaire de la communauté, de la sociabilité, c'est le lien tacite, le contrat sous-entendu entre les individus, qui par ses métamorphoses-mêmes s'élucide de plus en plus et passe d'un sentiment vague, d'un instinct religieux à une connaissance raisonnée, de manière que le devoir se fait sillogisme, presque désir.

La bourgeoisie était éminemment stérile sous ce rapport. Elle mêla sa petite morale de ménage, de comptoir avec les vertus antiques réthoriquement expliquées, avec les préceptes du christianisme, restauré par Luther et corrigé par l'Économie politique, Brutus et S. Paul, l'Évangile et Bentham, ⟨le⟩ livre de cuisine et l'Emile de J.-J. Rousseau.

Il était de toute impossibilité de prendre ce mélange pour base d'un contrat social nouveau, [la synthèse était] on se borna à rester dans un état [provisoire] transitoire. Mais les parvis d'une baraque provisoire n'avaient pas la force de tenir dans les limites raisonnables les contradictions et [désormais] toutes les absurdités les plus opposées levèrent leur tête et restèrent à côté des vérités. La liberté individuelle et la loi du dimanche, [le laissez-faire — et la règlementation de la vente des vins, l'égalité devant la loi et la justice rendue contre un dépôt d'argent] peuvent servir de base





«О БУРЖУАЗНОЙ ЕВРОПЕ». ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Рукопись Герцена на французском языке 1854—1855 гг. Листы 1 и 13

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

La morale traditionnelle du vieux monde avait plus d'unité, plus de démence logique. La nouvelle morale ne parvenant pas à se formuler, estropia tout, confondit tout — et prépara par là une issue [qu'elle n'a pas encore atteinte].

Avec la Réforme, avec la Révolution tout change jusqu'à un certain point et s'arrête là. La courtoisie aristocratique est remplacée par une lourde pruderie, l'insolence des grands seigneurs — par la succeptibilité des parvenus, l'honneur chevaleresque — par l'honnêteté d'un teneur de livres. On fit des Palais — des hôtels ouverts pour tous — pour tous ceux, bien entendu, qui pouvaient payer. On fit des Parks qui ne servaient que pour la promenade — des jardins potagers que tout le monde pouvait acheter, ayant de l'argent. La vie devint plus commode pour plusieurs, plus vulgaire pour tous et resta la même pour la grande majorité — pour les pauvres.

La grande question révolutionnaire devint aussi une question bourgeoise, l'éternelle lutte historique de l'avenir et du passé, de la liberté et de l'autorité, du conservatisme et du changement, trouva ses deux termes dans la classe dominante, comme la lutte religieuse entre le catholicisme féodal des Papes et le catholicisme bourgeois [dit protestantisme] des reformés ne sortait pas de l'enceinte de l'église chrétienne. [Le parti conservateur était avec le parti révolutionnaire sur le terrain bourgeois.] D'un côté le propriétaire qui ne voulait rien lâcher de ce qu'il a⟨vait⟩ accaparé *per fas* et *nefas*, de l'autre les démocrates qui veulent tout prendre au propriétaire, sans attaquer le droit de la propriété. D'un côté — *l'Avarice*, de l'autre — *l'Envie*.

Le côté de l'avarice est compact et a une grande unité, c'est une caste composée de commerçants, de fabricants, de maîtres, de producteurs, d'industriels, qui travaillent sérieusement pour s'enrichir, qui s'enrichissent sans savoir pourquoi. Les banquiers et les capitalistes forment leur aristocratie. C'est la bourgeoisie *proprie sic dictum*, elle gouverne — mais ne règne pas.

C'est l'autre parti, qui représente le mouvement et les deux courants, c'est le parti qui parle, qui écrit, qui enseigne et arrête la pensée, qui proclame les gouvernements et les mines — c'est la *capacité*, la force intellectuelle du siècle. Toute l'aristocratie de la civilisation y est — les littérateurs, les savants, les artistes, les hommes politiques, les journalistes, les avocats... et tous les *hors d'oeuvre* d'un monde vieux, qui doivent disparaître ou se refondre à l'entrée du nouveau, comme ont disparu les piqueurs, les échansons, les fous de palais [— comme disparaissent enfin les chevaux de poste avec les chemins de fer].

Ici pas d'unité compacte, au contraire deux camps — composés des mêmes individus; presque tous commencent par [être révolutionnaires — arrivés à une certaine hauteur la majeure partie passe avec arme et voyage à un conservatisme qui a en lui quelque chose de *révolutionnaire**] l'envie et finissent par l'avarice. Le sort de l'Europe est dans les mains de cette classe depuis Napoléon. D'un côté la jeunesse, les aspirants, les candidats, les talents non reconnus, les avocats sans procès... de l'autre — les hommes qui ont une position sociale, les talents reconnus, les députés élus, les avocats qui ont des procès et enfin tous les fainéants satisfaits. [Maintenant dans cette classe énorme] Parmi les révolutionnaires conservateurs et les conservateurs révolutionnaires on trouve une dizaine d'apôtres, quelques enthousiastes sincères et le reste... et le reste — je tâcherai de vous le faire connaître.

[Pour préciser ma pensée, je prends le type le plus complet que l'on nous a donné de l'homme civilisé de notre temps — c'est]

---

* *Слово* révolutionnaire *по ошибке не вычеркнуто.*

Avez-vous lu ou non le roman de «Horace»? G. Sand a tracé de main de maître [dans son Horace] le type [mesquin, faux, égoïste et dépravé, des derniers Mohikans de la bourgeoisie] de l'homme contemporain. C'est bien dommage que [la main féminine] le grand artiste [le ménagea] par un ménagement bienveillant — laisse à son héros une issue, un peu banale en verité, mais conciliante [un sourire de mépris, mais aussi de condescendance sauve Horace], il devient avocat, et probablement très distingué, il pourrait pousser plus loin.

[Si vous voulez sérieusement étudier Horace, vous verrez en lui tout ce qui vous met tellement en colère dans vos rapports avec la société actuelle].

C'est une décoration vivante, tableau d'un côté — toile grossière et sale de l'autre, c'est un acteur éternel. Horace réel a un Horace idéal — et il le représente, il connaît toutes les passions — mais par l'esprit, dans le bonheur comme dans le malheur il ne cherche que le côté scénique, son épicurisme est de la seconde puissance — il aime à déguster, à savourer l'effet qu'il produit, il s'enivre de la sympathie qu'il provoque, il cherche l'approbation — c'est son sérieux. Dans le coeur de cet homme vous ne prévoyez aucune limite qui l'arrêterait, vous savez de ces limites instinctives, qui s'annoncent avant que l'homme ait le temps de réfléchir; pour lui il n'y a qu'un frein — l'opinion publique. Laissez-le seul — il ne se lavera jamais. Avare de chaque petite jouissance pour lui-même — il ne se donne jamais (au reste, il n'a rien à donner); il fouille toujours occupé exclusivement de soi-même, avec naïveté les sentiments les plus intimes de ses proches, sans s'en apercevoir. Il a la concupiscence de tout — et⟨n'a⟩ni force, ni persistance pour atteindre. La grande chose c'est qu'il ⟨lui est⟩ impossible de sacrifier quelque chose. Pour se ménager d'un ridicule, il [calomniera] perdra une [vierge] jeune fille, il trahira un ami. Par ce ridicule on peut le pousser jusqu'au départ pour l'Amérique, ou un duel à 4 pas. Il est d'après ses opinions révolutionnaire, parle contre la bourgeoisie-même... mais au fond il n'aspire qu'à l'aristocratie [et ne rêve que salons, armoiries]; aussi il perd chaque fois la tête lorsqu'on le laisse dans un salon frotté. Donnez-lui 25 m. francs de rente et il ne vous recevra pas.

Horace est fautif de tous les malheurs qui tombèrent sur l'Europe depuis 1848. Il a commencé par se tromper qu'il était révolutionnaire, ensuite il trompa les masses en se passant pour démocrate, il voulait le pouvoir — mais ne savait pas le retenir par ses mains débiles, il l'abandonna de suite après avoir tous embrouillé, en se vantant de n'avoir pas versé une goutte de sang sur l'échafaud — c'est à dire d'avoir manqué de foi et d'énergie — comme il les manquait en amour et en amitié — il est toujours d'un degré inférieur — lorsqu'il faut agir et d'un degré plus haut que les évenements — lorsqu'il faut pérorer.

Voilà pourquoi Horace traîne dans le malheur tous les êtres *vrais* qui entrent en collision avec lui. Car ils sont constamment ses dupes. C'est un joueur qui n'a que de la fausse monnaie — peut être sans le savoir, — contre l'or pur par lequel vous lui payez. C'est un être artificiel, produit sur un sol [vaseux et impur] d'alluvion aussi artificielle formés par la vie urbaine et bourgeoise. Horace est impossible comme ouvrier ou comme aristrocrate. Prenez à côté de lui un être dépravé d'une autre époque — Faublas par ex⟨emple⟩. Entre les deux il n'y a que 50 ans de différence — mais un monde entier les sépare.

A travers la grande corruption de Faublas perce un coeur noble, il y a plus d'étourderie, de légèreté en lui que de vices, et il jouit si naïvement de ses petites conquêtes et se répand si naïvement, qu'on voit clairement que si c'est trop tard de l'arrêter ... qu'on peut le laisser faire — viendra un temps où il se fatiguera et deviendra un homme, peut être chemin faisant il perdra sa santé et sa fortune — mais du coeur il lui en restera. C'est pour

cela qu'il vous vient quelquefois dans la tête de le menacer du doigt en souriant, tandis que vous voudriez écraser comme un crapaud ce Horace qui en comparaison avec Faublas est un moine, un homme sérieux, aux grandes idées, aux aspirations excentriques.

Le monde de Faublas attendait un coup de tonnerre — pour purifier cette atmosphère de volupté, de poudre et d'essence de boudoirs.

Le monde de Horace a besoin d'un tremblement de terre.

Puisque nous sommes [au roman de Louvet] au roman, j'ajouterai encore un mot. Ce roman, sans contredit est beaucoup plus *indécent* que les romans de Paul de Kock... Comment cela se fait qu'en lisant ces derniers vous sentez que la boue est plus profonde et plus sale?

C'est la différence du petit sujet un peu leste que traitaient les artistes du temps de Mignard, de Greuze, qu'on reproduisait en porcelaines de Sèvres... et de ces autres qu'on vend dans des passages écartés du Palais-Royal.

La cause générale est la même — et le niveau s'est baissé, parce que les goûts bourgeois ont pris le dessus. Entre Horace et Faublas, entre Louvet et Paul de Kock — passa la bourgeoisie — et forma deux générations.

Le niveau s'est baissé.

Le niveau est toujours en baisse — et c'est là que commence l'espérance.

Le Figaro de Beaumarchais et la Lisette de Béranger sont déjà des êtres idéaux, comme Sainte Geneviève ou Bayard. Figaro, le barbier un peu filou, a été remplacé par Robert Macaire — qui vole, assassine, viole, fait des faux. Au lieu de Lisette vous avez Margot qui n'aime rien, ni «la fauvette, ni le chant de Romeo», mais qui *dit* qu'elle aime l'or;— non seulement ce n'est plus Lisette — et moins encore ni une Hétère de Lucien, ni une courtisane de Florence, ni une femme galante du XVIII... C'est une femme avec un №, patentée par la police — et garantie par la préfecture.

La femme de trente ans et de 1830, les femmes charmantes de Balzac — ont vieilli après 1850. Al. Dumas Il ouvrit son S. Lazare littéraire — et voilà que les dames aux camélias et sans camélias les remplacèrent,—Madelaines — moins le repentir et la passion.

La littérature des *hommes* publics n'était pas meilleure. Il fut un temps où il ne suffisait pas d'avoir été simple espion pour s'en vanter, il fallait avoir été ou ministre comme Foucher ou préfet comme Vidoque et Gisquet.

Le niveau a baissé — et voilà les livres De la Hodde, de Chénu, de Schnep⟨f⟩ — qui forment une guirlande autour De l'autobiographie d'Arthur Gorgey.

[Est-ce que vous pensez que ces symptomes ne suffisent pas pour annoncer une décomposition complète: — ou l'esprit bourgeois périra, ou l'Europe. Eh bien, moi je crois encore à la vieille.]

A côté de ces existences héroïques la vie de Barnum pourrait être la biographie d'un S. Pierre ou S. Paul.

[C'est cette phalange macédonienne, qui commence par Horace et finit par De la Hodde, que nous rencontrons la première.]

Ces faits qui nous servent de plomb pour mesurer la profondeur de [la chute] l'abaissement moral ne sont pas dangereux. Horace n'est pas un espion; écouter derrière une porte est l'occupation la moins dramatique, un mouchard ne produit aucun effet favorable, au contraire Horace est mécontent des entraves qu'on met à la presse et des espions; ils l'empêchent de se produire dans les cafés et d'étonner son monde par un geste généreux et une sentence hardie.

La crapule proprement dite est d'autant moins dangereuse pour nous — que nous y sommes nés. N'oubliez pas que la dame aux Perles est une Russe. Nos collisions et rencontres nous ne les faisons pas avec les galériens et les employés de la préfécture, nous les faisons avec la phalange macédonienne de la Bourgeoisie — c'est là que Horace domine.

AUX INSURGÉS.

Au nom de l'Assemblée nationale.

Citoyens,

Vous croyez vous battre dans l'intérêt des ouvriers, c'est contre eux que vous combattez, c'est sur eux seuls que retomberont tant de sang versé. Si une pareille lutte pouvait se prolonger, il faudrait désespérer de l'avenir de la République, dont vous voulez tous assurer le triomphe irrévocable.

Au nom de la patrie consternée,

Au nom de la République qui vous allez perdre,

Au nom du travail que nous demandée et qu'on ne vous a jamais refusé, lorsque les représentants de vos opinions communes, mêlés à vos armes fraternelles, en comptaient que le Gouvernement, s'il n'ignore pas que dans vos rangs il y a des malfaiteurs criminels, sait aussi qu'il y trouve des frères qui ne sont qu'égarés, et qu'il rappelle dans les bras de la patrie.

Général Cavaignac.

Paris, le 24 juin 1848.

A la garde nationale.

Citoyens,

Votre sang n'aura pas été versé en vain; robustes d'esprit, répondez à mon appel, et l'ordre, grâce à vous, grâce au concours de vos frères de l'armée, sera rétabli.

Citoyens, ce n'est pas seulement le pouvoir, c'est l'avenir de la France et de la République que votre héroïque conduite va assurer.

Rien ne se lombe, rien ne s'établit sans douleurs et sans sacrifices; soldats volontaires de la nation républicaine, vous avez dû le comprendre.

Avez confiance dans le chef qui vous commande, comptez sur lui comme il peut compter sur vous.

La force, unie à la raison, à la sagesse, au bon sens, à l'amour de la patrie, triomphera des ennemis de la République et de l'ordre social.

Ce que vous voulez, ce que nous voulons tous, c'est un gouvernement ferme, sage, honnête, assurant tous les droits, rétablissant toutes les libertés, sans lesquelles toutes les ambitions personnelles, sont prêtes pour exploiter toutes les haines des ennemis de la France.

Ce gouvernement, vous l'avez; car vous vous, vous avez vaincu, vaincu, loyal, sympathique, ce gouvernement peut seul tout faire.

Général Cavaignac.

Paris, le 24 juin 1848.

Défense d'afficher.

Vu le décret de l'Assemblée nationale, en date de ce jour, déclarant que la ville de Paris est mise en état de siège.

Nous, commandant supérieur de toutes les forces militaires de la capitale, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par le même décret,

Arrêtons ce qui suit :

Art. 1er. Toutes affiches traitant de matières politiques, et n'émanant pas de l'autorité, sont actuellement jugées ne rétablissant en la tranquillité publique.

Passage d'une colonne d'insurgés prisonniers à travers Paris.

Art. 2. Toutes les autorités civiles et militaires prêteront la main à l'exécution du présent arrêté.

Paris, 24 juin 1848. *Le chef du pouvoir exécutif,*
E. Cavaignac.

Désarmement.

Le chef du pouvoir exécutif arrête :

Les maires des douze arrondissements de Paris devront procéder au désarmement de tout garde national qui, sans motif légitime, manquera aux appels qui lui sont faits pour concourir à la défense de la République.

Paris, le 25 juin 1848. E. Cavaignac.

Suppression de journaux.

Le chef du pouvoir exécutif,

En vertu du décret de l'Assemblée nationale qui met la ville de Paris en état de siège, arrête :

Le préfet de police et tout agent de la force publique, sur le vu du présent arrêté, fera arrêter le citoyen Emile de Girardin, et supprimer le journal *la Presse* (1).

(1) Plusieurs journaux ont disparu ainsi de partition, et leurs presses ont saisies dès mêmes mêmes matins.

Ces journaux sont Suppressions, mais accepteur d'opinion, mais dont le

Le préfet de police fera immédiatement saisir toutes les feuilles publiques qui, par leur publication, prolongeraient la lutte qui ensanglante la capitale et compromettrait le salut de la République.

Paris, le 25 juin 1848.

E. Cavaignac.

Proclamation.

« Ouvriers et vous tous qui tenez encore les armes levées contre la patrie et contre la République, une dernière fois, au nom de tout ce qui il y a de respectable, de saint, de sacré pour les hommes, dépossé vos armes; l'Assemblée nationale, la nation tout entière vous le demandent. On vous dit que de cruelles vengeances vous attendent; ce sont vos ennemis, les siens qui parlent ainsi; on vous dit que vous serez massacrés de sang-froid; venez à nous, venez comme des hommes repentants et soumis à la loi, et les bras de la République seront tout prêts à vous recevoir.

« Paris, 25 juin 1848.

« *Le président de l'Assemblée nationale,*
« Sénard.
« *Le chef du pouvoir exécutif,*
« E. Cavaignac. »

délivrée dans de mêmes à prolonger la lutte qui a ensanglanté la capitale, sont :

La Révolution, la *Force Républicaine*, l'*Organisation du travail*, l'*Assemblée nationale*, le *Nouveau républicain*, le *Journal de la commune*, le *Lampion*, le *Libéral*, la *Voix Ouvrière* et le *Peuple*.

« Le canon de l'ordre et de la vraie République triomphe de l'insurrection d'affaire, des quantités considérables d'armes ont saisies; partout la garde nationale et l'armée, toujours admirables dans leur unité, glorieuse de leurs et rude vent sous les obstacles. Nous pouvons l'affirmer sans crainte, la patrie et la société sont sauvées. En tous les départements arrivent des envoyés fraternels, la France entière lui d'un seul cœur et unie au même but, la République et l'ordre.

« Paris, le 25 juin 1848.

« *Le chef du pouvoir exécutif,*
« E. Cavaignac. »

Défense d'élever des barricades.

Tout individu travaillant à élever une barricade sera considéré comme s'il était pris les armes à la main.

Paris, le 25 juin 1848.

Le chef du pouvoir exécutif,
E. Cavaignac.

Proclamation à la garde nationale et à l'armée.

« Citoyens, soldats,

« La cause sacrée de la République a triomphé; votre dévouement, votre courage inébranlable ont déjoué de coupables projets, fait justice de mauvaises ambitions. Au nom de la patrie, au nom

ПОСЛЕ ИЮНЬСКИХ ДНЕЙ

Арестованные повстанцы на улицах Парижа

«L'Illustration» от 8 июля 1848 г.

«Прошло еще несколько дней, и Париж стал принимать обычный вид... Одни частые патрули и партии арестованных напоминали страшные дни» («С того берега», гл. «После грозы»)

Nous nous en approchons avec une simplicité tellement Scythe qu'on la prend pour de l'hypocrisie, on cherche une duplicité lorsqu'il n'y a qu'adulation. Mais peu-à-peu nous distinguons avec horreur un fond de dissolution tel, que nous n'en avons jamais rêvé, au milieu de nos neiges.

Nous ne sommes en général pas moins corrompus qu'eux — mais ils sont beaucoup plus dissolus. Nous sommes plus coupables devant la police correctionnelle — eux plus coupables devant l'«Esprit Saint».

Rappelez-vous toute la ménagerie des héros de Gogol... Ce sont des oueurs, des ivrognes, des menteurs, des voraces, surtout ⟨des⟩ voleurs — leurs passions sont grossières, bestiales — et voilà tout; ce n'est que dans le «Propriétaire civilisé» de Tourgueneff que je reconnais la corruption gazée et astucieuse de l'Occident. Mais aussi c'est un produit funeste de la démoralisation d'un monde décrépit, greffé au tronc sauvage d'une vie inculte. Il y a un milieu entier à Pétersbourg qui en fourmille, c'est cette bureaucratie d'origine métisse, produit d'un croisement impur d'aventuriers de toutes les nationalités, de générations entières qui s'abattirent sur la Russie du temps de Pierre I et de ses successeurs — êtres sans patrie, serviles et rongés par l'envie, l'amour propre et le scorbut. Mais le petit «San-Marino» de dépravation n'est pas du tout national.

Au contraire, la corruption générale chez nous a un caractère de violence, de vantardise*, de prostitution éhontée, tumultueuse — et presque toujours accompagnée d'une grande ignorance.

Ce n'est pas le cas en Occident. [La civilisation les rend dissimulés et décents].

Non seulement on comprend tout ce qui agite l'âme de l'homme contemporain, mais on se fait ici l'organe du développement et de la propagation de toutes les grandes idées, sans que cela influe de quelque manière sur la conduite.

Et c'est nommément là que commence notre confusion. Leur langue est *la nôtre*, cela nous induit tout d'abord en erreur; chez nous c'est la langue d'une minorité persécutée, d'une franc-maçonnerie tacite, par elle nous nous reconnaissions. Cette langue oblige chez nous, et comme son usage n'est pas sans danger,— on ne la parle pas gratuitement. [Ici tout le contraire, cette langue]

Jusqu'à ce que vous preniez les hommes pour des livres ouverts, jusqu'à ce que vous restiez avec eux dans le rapport, dans lequel vous êtes avec un acteur pendant qu'il représente — tout ira bien, mais n'allez pas derrière les coulisses. Certainement il n'y⟨a⟩ aucun *besoin* d'y aller. L'histoire sait extraire des essences aromatiques d'herbes qui sentent mal, vous n'avez pas besoin de regarder dans sa casserole, ni remuer ce foin infecte — on le jettera dehors, l'esprit aromatique seul restera.

Mais d'un autre côté cela ne suffit pas au coeur humain; nous cherchons une autre *communauté* avec les hommes, le lien purement théorique ne nous suffit pas comme les rapports exclusivement d'affaires. La solidarité, la sociabilité, l'attraction mutuelle, la bienveillance innée demandent plus — et leurs exigences, quoiqu'on en dise, ne sont pas moins fortes que les exigences de l'égoïsme.

Il y a quelque chose de tellement repoussant dans ce dualisme moral que, mille fois trompés, nous nous efforçons de ne plus y croire, de ne pas admettre que la conviction et la conduite ne coïncident pas — de là une source amère de collisions les plus horribles.

Une partie de cet étrange état moral dans le monde contemporain s'explique par la stérilité de la doctrine révolutionnaire, de laquelle nous avons parlé. C'était l'émancipation et non la liberté, le libéralisme apprenait

---

* *В подлиннике:* vantarderie.

avec le mépris de l'autorité, le moyen de se défaire de chaque collier, de chaque chaîne, laissant aux hommes s'arranger après comme ils le savent... Mais les hommes ne savaient pas comment, car ils étaient des affranchis, et non des hommes libres.

Analysez la philosophie du libéralisme — c'est un règlement de guerre, c'est la doctrine de l'attaque et de la résistance, le pouvoir — n'est pas la volonté active du peuple vers un ennemi. Après la victoire on n'avait rien à faire avec cette science, [art] militaire. Pendant la lutte, toute théorie qui l'aide est bonne; c'est le tambour battant pour ranimer et rallier, c'est la parole énergique qui enrôle les combattants. La conduite en temps de guerre est simple et temporaire, en partie elle se règle d'après l'ennemi, le reste consiste dans une organisation unitaire et artificielle. Le reste — le reste on le couvre d'un voile comme la Statue de la liberté à la Convention.

Lorsque le temps vint d'ouvrir la statue — on vit qu'elle n'était pas de marbre, mais d'argile. Lorsqu'il fallait incarner dans une série de lois la splendide rhétorique de l'amour de l'humanité, de la fraternité du peuple, de la république, de la démocratie, de la souveraineté du peuple et de l'égalité absolue,— alors on parvint avec peine de voter la consti⟨tution⟩ la plus piètre, la plus indigeste de toutes celles qui avaient existé,—la constitution de 1848.

Un seul principe a été proclamé — *le suffrage universel*. Voilà la source vivifiante et arithmétique du nouveau pacte social. L'application du suffrage universel aux questions les plus profondes, les plus fondamentales de la République—équivalait à une abdication, à un aveu qu'on marche à tâtons. Qui connaît une vérité, l'aime, l'estime et a foi en elle, ira-t-il dans la rue demander l'opinion du premier passant, voudra-t-il déterminer par l'addition et la soustraction le plus ou le moins de valeur de sa vérité?

Les masses qui ne comprenaient rien dans ce pot-pourri politique qu'on représentait à l'Hôtel de ville et dans l'Assemblée — comprirent par instinct le suffrage universel. La fente qui séparait de plus en plus le public des acteurs, s'élargissait, et lorsque pour la couvrir il ne suffisait plus ni du tapon oriental de l'éloquence de Lamartine, ni des cadavres des *frères* égorgés aux journées de Juin — alors du fond de la fente sortit Louis Bonaparte en se frottant ses yeux endormis. C'était tellement absurde, qu'il devait devenir l'homme de la position...

⟨*На этом рукопись обрывается.*⟩

Перевод:

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Дорогой друг,

Ваше письмо меня не удивило — я этого ожидал от вас, ибо сам прошел через те же испытания. Вам как-то не по себе на Западе — ни люди, ни предметы не оправдали здесь ваших ожиданий. Это вполне естественно, но такое состояние не должно продолжаться слишком долго. Отдав должное страстям, отдадим также логике и анализу то, что принадлежит им.

И, прежде всего, разве Запад несет ответственность за то, что он не отвечает нашим о нем представлениям? — не более, чем мы ответственны за эти свои представления— все это непроизвольно и вызывается общими причинами.

Мы изучали Европу по книгам, но пока мы *ее* читали, она преображалась, по крайней мере в своем верхнем слое, и, к несчастью, мы видим и знаем только этот верхний слой, а что происходит в недрах, в глубинах народной жизни — мы не знаем да и сам народ не знает этого.

Массы не были вовлечены по-настоящему в движение, они колыхались, как колышется нива от ветра, склоняясь то в одну сторону, то в другую, но не оставляя своей почвы.

В наше представление о западном человеке входят элементы, совершенно верные, но или уже не существующие более, или совершенно изменившиеся.

Рыцарская доблесть, аристократическое изящество, строгая чинность протестанта, мрачная энергия революционеров, роскошная жизнь итальянских художников, посвященная размышлениям и идеализму жизнь поэта — все это переплавилось и почти исчезло в совокупности других нравов — *нравов буржуазных*.

Они господствуют над миром до такой степени, что и старческий класс аристократии и класс вечных рудокопов, рабочих, который входит в свои права, торопятся усвоить эти нравы. Дворяне и пролетарии стремятся быть буржуа по образу жизни.

С точки зрения общей экономики, переход феодального общества в общество буржуазное является неоспоримым прогрессом. Борьба и развитие перенесены на реальную почву, на землю; мир фантазеров и мечтателей начинает просыпаться: часть человечества отрезвляется, все упрощается; аристократизм дворян был в их воображении и в крови; аристократизм буржуазии — в денежном сундуке *.

Слова «средний класс» выражают с большой пластичностью промежуточное значение буржуазии — не только то, что она занимает место между аристократией и народом, но и то, что она — между прошедшим и будущим. Не подумайте только, будто я хочу этим сказать, что она является по преимуществу *настоящим*; совсем напротив, она колеблется между будущим, которого она жаждет, но боится, и прошедшим, которое она ненавидит, но не в силах отбросить. Шаг вперед — и она встречает вместо Лютера — Мюнцера, вместо либерализма — социализм. Шаг назад — и она натыкается на феодальную монархию, которую недолюбливает, и на дворянскую аристократию, которую ненавидит.

В подобных случаях нет действенного разрешения вопроса, есть золотая середина, нейтрализация противоположностей, уравновешивание сил, то есть их уничтожение. Действенное призвание буржуазии состояло почти исключительно в оппозиции — и в этом-то и заключалась ее сила и ее красота — что может быть прекраснее фламандской буржуазии эпохи Реформации? Что же касается подлинно творческого начала — им она была чрезвычайно бедна **. Вот почему также столь коротко было ее дыхание. Энергичный борец становится вскоре заурядным хозяином ***.

Во время борьбы круглая шляпа и черная одежда Франклина торжественно заменяют вышитую одежду и шляпу с перьями; во время борьбы «Гражданин» был велик и прекрасен на трибуне, на площади, с ружьем в руке, с головой под ножом гильотины... и отправляясь с «Марсельезой» на устах.

Победитель пробуждается — коронованным Санчо-Пансо.

Нет, нет, ты уж не Лизетта...
В тканях, шелком шитых,
Жемчуг и цветы
В локонах завитых...****

... Былое значение не дает в истории никакого права на наследство.

Дворянство — и оно было когда-то прекрасно, оно было прогрессом, для своего времени, и Рыцарь, вооруженный защитник личной независимости и человеческого достоинства, был достойным преемником римских граждан slave-holders *****.

Развитие, так же, как и природа, не знает, что такое синекура признательности; что может быть прекрасней лепестков цветка? — но они опадают и увядают, едва лишь достигнута цель ******.

---

* *Далее зачеркнуто:* следовало убить первый, достаточно зачерпнуть во втором.

** *Далее зачеркнуто:* это религия собственности

*** *Далее зачеркнуто:* Он прекрасен, опрокидывая мистический трон; он отвратителен, садясь на этот трон; видно, что его совсем не воспитывали для роли короля.

**** Герцен неточно цитирует здесь песню Беранже «Ce n'est plus Lisette». Нами приводится соответствующее место из перевода В. С. Курочкина (тоже не буквального).

***** рабовладельцев (англ.).

****** *Далее зачеркнуто:* Буржуазия как правящий класс показала себя ниже всякого ожидания.

ОРАС

Рисунок Мориса Санда к одноименному роману Ж. Санд, 1853 г.

Гравюра Делавиля

«Вся действующая, пишущая Франция состоит из Орасов... Существо это, позолоченное снаружи и испорченное внутри... Орас главный виновник бедствий, обрушившихся на Европу в последнее время» («Оба лучше»)

Из великих вопросов, поставленных Революцией, буржуазия не разрешила ни одного, она их упростила, удалив из них аристократический элемент, отсрочив, отложив их на время при помощи решений, не отличавшихся ни искренностью, ни правильностью. «Laissez faire, laissez passer»... и наряду с этим всякого рода регламентация — централизаторская и монархическая. Буржуазный либерализм представляет собою лишь освобождение собственника, ⟨буржуазная⟩ демократия — лишь внешнее уравнивание: она признает право пролетариата на собственность, не давая ему средств, и провозглашает равенство преступников перед судом, предоставляя невинным устраиваться, как им угодно. Этим двум друг друга отрицающим началам — либерализму и демократии — никогда ничто не удавалось, кроме сооружения временных балаганов и наведения некоторого «порядка в беспорядке», как столь наивно выразился один из представителей буржуазной демократии — Коссидьер.

Надлежало создать новую мораль... Ибо мораль * есть не что иное, как историческое сознание *нынешних*, существующих взаимоотношений людей, признанное, прочувствованное ими в данный период—это** временное определение единства, общности; это молчаливая связь, подразумеваемый договор между личностями, самые изменения которого более и более способствуют его прояснению и переходу из смутного чувства, из религиозного инстинкта в обоснованное доводами знание, таким образом, что долг становится силлогизмом, почти желанием.

Буржуазия была крайне бесплодна в этом отношении. Она смешала свою мелкую домашнюю, конторскую мораль с античными, риторически истолкованными добродетелями, с заповедями христианства, подновленного Лютером и исправленного политической экономией, Брута — со св. Павлом, евангелие — с Бентамом, поваренную книгу — с «Эмилем» Ж.-Ж. Руссо.

---

* *Далее зачеркнуто:* есть явление, подлинно историческое

** *Далее зачеркнуто:* историческое

Не было никакой возможности принять эту смесь за основу для нового общественного договора *, и тогда ограничились тем, что остались в ** переходном состоянии. Но ограда временного балагана не в состоянии была удержать противоречия в разумных границах, и *** все самые противоречивые нелепости подняли голову и сохранились наряду с истинами. Личная свобода и воскресный закон **** могут служить этому подтверждением.

Традиционная мораль старого мира обладала бо́льшим единством и была логичнее в своем скудоумии. Новая мораль, не сумев определить себя, все искалечила, все спутала — и подготовила этим конец *****.

С Реформацией, с Революцией все меняется до определенных пределов и на этом останавливается. Аристократическая учтивость заменена тупой чинностью, заносчивость вельмож — обидчивостью выскочек, рыцарская честь — бухгалтерской честностью. Дворцы были превращены в гостиницы, открытые для всех — для всех тех, разумеется, кто в состоянии был платить. Парки, служившие только для прогулок, превращены были в огороды, которые могли быть куплены каждым, имевшим деньги. Жизнь стала более удобной для некоторых, более пошлой для всех и осталась неизменной для громадного большинства — для бедняков.

Великий революционный вопрос стал также вопросом буржуазным; извечная историческая борьба грядущего с прошедшим, свободы с насилием, косности с переменами нашла обе свои границы внутри господствующего класса, подобно тому как религиозная борьба между феодальным католицизмом пап и буржуазным католицизмом****** реформатов не выходила за пределы христианской церкви*******. С одной стороны — собственник, не желавший ничего уступать из того, что он захватил, *per fas et nefas*********, с другой — демократы, которые желают все отобрать у собственника, не посягая на право собственности. С одной стороны — *Скупость*, с другой — *Зависть*.

Скупцы образуют сплоченное целое, обладающее большим единством; это каста, состоящая из торговцев, фабрикантов, хозяев, производителей товаров, промышленников, которые работают сосредоточенно, чтобы разбогатеть, и богатеют, сами не зная зачем. Банкиры и капиталисты образуют их аристократию. Это буржуазия *proprie sic dictum* *********, она управляет, но не царствует.

Представителем движения и обоих течений является другая сторона, сторона говорящая, пишущая, обучающая и пресекающая мысль, провозглашающая правительства и подрывающая их — это *Дарование*, умственная сила века. В нее входит вся аристократия цивилизованного мира — писатели, ученые, художники, политические деятели, журналисты, адвокаты... и весь *мелкий сброд* старого мира, который должен исчезнуть или переплавиться при явлении нового мира, как исчезли псари, виночерпии, дворцовые шуты **********.

Здесь нет сплоченного единства, наоборот — два лагеря, состоящие из одинаковых личностей; почти все они начинают ********** с зависти и кончают скупостью. Судьба Европы находится в руках этого класса со времен Наполеона. С одной стороны — молодежь, соискатели должностей, кандидаты, непризнанные таланты, адвокаты без процессов... с другой—люди, имеющие положение в обществе, признанные таланты,

---

* *Далее зачеркнуто:* синтез был

** *Далее зачеркнуто:* временном

*** *Далее зачеркнуто:* отныне

**** *Далее зачеркнуто:* le laissez-faire—и регламентация продажи вина; равенство перед законом — и правосудие, воздаваемое за денежную мзду

***** *Далее зачеркнуто:* которого она еще не достигла

****** *Далее зачеркнуто:* называемым протестантизмом

******* *Далее зачеркнуто:* консервативная партия находилась вместе с партией революционной на буржуазной почве.

******** правдой и неправдой (лат.).

********* в буквальном значении слова (лат.).

********** *Далее зачеркнуто:* как, наконец, исчезают почтовые лошади при появлении железных дорог

*********** *Далее зачеркнуто:* с того, что бывают революционерами — достигнув известного положения, большая часть переходит с оружием в руках и устремляется к консерватизму, имеющему в себе нечто *революционное*

выбранные депутаты, адвокаты, имеющие процессы, и, наконец, все благоденствующие тунеядцы *. Среди консервативных революционеров и революционных консерваторов находится с десяток апостолов, несколько искренних энтузиастов... а остальные... остальных я попытаюсь помочь вам узнать **.

Читали ли вы роман «Орас»? Ж. Санд рукой мастера *** изобразила тип **** современного человека. Очень жаль, что ***** великий художник ****** с благожелательной заботливостью оставляет своему герою, по правде говоря, несколько банальный, но примиряющий выход *******: он становится адвокатом и, вероятно, весьма видным, он мог бы продвинуться гораздо далее ********.

Это живая декорация, живопись на лицевой стороне — грубое и грязное полотно — на другой, это вечный актер. У реального Ораса есть идеальный Орас, за которого он хочет прослыть; ему знакомы все страсти, но только умозрительно,— в счастье, как и в беде, он отыскивает одну сценическую сторону; его эпикуреизм возведен в квадрат — он любит дегустировать, смаковать производимый им эффект; он упивается симпатией, которую искусственно вызывает; он ищет одобрения — вот основное в его жизни. В сердце этого человека нет внутреннего предела, который бы его остановил в чем-нибудь — вы знаете, я имею в виду те инстинктивные пределы, которые дают о себе знать прежде, чем человек успеет размыслить; для него существует только одна узда — общественное мнение. Оставьте его одного — он перестанет умываться. Алчный ко всякому, даже ничтожному удовольствию, он от себя не дает никогда ничего (впрочем, ему нечего давать); он, всегда занятый исключительно самим собою, сам того не замечая, с наивностью копается в самых сокровенных чувствах своих ближних. Он питает ко всему вожделение и не имеет ни силы, ни настойчивости для достижения. Самое главное — то, что он не в состоянии пожертвовать чем-либо. Чтоб выправиться из смешного положения, он ********* готов опозорить ********** девушку, предать друга. Боязнь быть смешным может толкнуть его на отъезд в Америку или на дуэль на четыре шага. По мнениям—он революционер, он высказывается против буржуазии... но в глубине души он стремится только к аристократии **********; так, каждый раз, попадая в роскошную гостиную, он теряет голову. Дайте ему 25 тысяч франков дохода, и он не пустит вас к себе в дом.

Орас — виновник всех бедствий, обрушившихся на Европу с 1848 г. Начал он с самообмана, возомнив себя революционером, затем он обманул массы, выдавая себя за демократа,— он желал власти, но не сумел удержать ее в своих немощных руках; затем, всех запутав, он покинул эту власть, хвалясь тем, что не пролил ни капли крови на эшафоте, то есть тем, что у него не хватило ни веры, ни энергии, как их нехватало у него в любви и в дружбе—он всегда ступенью ниже, когда нужно действовать, и ступенью выше событий, когда должно разглагольствовать.

Вот почему Орас приносит несчастье всем тем *настоящим* людям, которые сталкиваются с ним. Ибо они постоянно бывают одурачены им. Это игрок, который, быть может сам того не зная, играет только на фальшивые деньги, взамен чистого золота, которым вы с ним расплачиваетесь. Это существо искусственное, возникшее на

---

* *Далее зачеркнуто:* теперь в этом огромном классе

** *Далее зачеркнуто:* Чтоб уточнить мою мысль, я беру наиболее полно представленный нам тип цивилизованного человека нашего времени — это

*** *Далее зачеркнуто:* в своем Орасе

**** *Далее зачеркнуто:* скупого, лживого, эгоиста и распутника, одного из последних могикан буржуазии

***** *Далее зачеркнуто:* женская рука

****** *Далее зачеркнуто*: пощадила его

******* *Далее зачеркнуто:* презрительная, но не лишенная снисходительности улыбка спасает Ораса

******** *Далее зачеркнуто:* Если вы захотите по-настоящему изучить Ораса, вы увидите в нем все то, что вас так сильно возмущает при сношениях ваших с современным обществом.

********* *Далее зачеркнуто:* оклевещет

********** *Далее зачеркнуто:* девственницу

*********** *Далее зачеркнуто:* и мечтает только о салонах, гербах

наносной почве *, также искусственной, созданной городской и мещанской жизнью. Орас немыслим ни как рабочий, ни как аристократ. Поставьте рядом с ним развращенного человека другой эпохи —Фоблаза, например. Между ними всего только 50 лет, но целый мир разделяет их.

Из-за глубокой испорченности Фоблаза проглядывает благородное сердце; в нем больше ветрености, легкомыслия, чем пороков, и он так наивно радуется своим маленьким победам и так наивно распространяется о них, что ясно видишь,— если уже поздно его останавливать... можно дать ему волю — придет время, когда он утомится и станет человеком; возможно, что по дороге он потеряет здоровье, состояние — но сердце в нем останется. Именно поэтому вам иногда приходит в голову погрозить ему с улыбкой пальцем, в то время как вам хотелось бы раздавить, как жабу, этого Ораса, который, по сравнению с Фоблазом — монах, человек серьезный, с великими идеями, с необычными стремлениями.

Мир Фоблаза ожидал громового удара, чтоб очистить эту атмосферу сладострастия, пудры и благоуханий будуаров.— Мир Ораса нуждается в землетрясении.

Поскольку речь идет ** о романе, я прибавлю еще одно слово. Этот роман, несомненно, гораздо более *неприличен*, чем романы Поль-де-Кока... Почему же, когда вы читаете эти последние, вы чувствуете, что грязь глубже и гаже?

Это разница между легким и несколько вольным сюжетом, обработанным художниками времен Миньяра, Греза и воспроизводившимся на севрском фарфоре... и теми, что продаются в отдаленных пассажах Пале-Рояля.

Основная причина — та же, и уровень понизился, потому что буржуазные вкусы взяли верх. Между Орасом и Фоблазом, между Лувэ и Поль-де-Коком прошла буржуазия — и образовала два поколения.

Уровень понизился.

Уровень продолжает понижаться, и вот здесь-то рождается надежда.

Фигаро Бомарше и Лизетта Беранже сделались теперь такими же идеалами, как святая Женевьева или Баяр. Плутоватого цирульника Фигаро сменил Робер Макер, который крадет, убивает, насилует, делает фальшивые векселя.

Вместо Лизетты является Марго, которая ровно ничего не любит —«ни малиновки, ни песни Ромео», но которая *говорит*, что любит золото; это не только больше не Лизетта — а даже и не гетера Лукиана, не флорентинская куртизанка, не прелестница XVIII века... Это женщина за номером, патентованная полицией и гарантированная префектурой.

Тридцатилетняя женщина, женщина 1830 года, очаровательные женщины Бальзака постарели после 1850 года. Ал. Дюма II открыл свой литературный Сен-Лазар, и вот дамы с камелиями и без камелий заменяют их — Магдалины без раскаяния и без страсти.

Литература публичных *мужчин* была не лучше. Было время, когда казалось недостаточным быть в прошлом просто шпионом, чтоб этим бахвалиться; надо было быть прежде либо министром, подобно Фуше, либо префектом, как Видок и Жиске.

Уровень понизился — и вот появились книги Де-Ла-Года, Шеню, Шнепфа, — образующие гирлянду вокруг автобиографии Артура Гёргея ***.

Рядом с этими героическими существованиями жизнь Барнума может показаться биографией св. Петра или св. Павла ****.

Эти факты, служащие нам лотом для измерения глубины ***** морального упадка, не опасны. Орас — не шпион; подслушивать за дверью — это занятие, наименее дра-

---

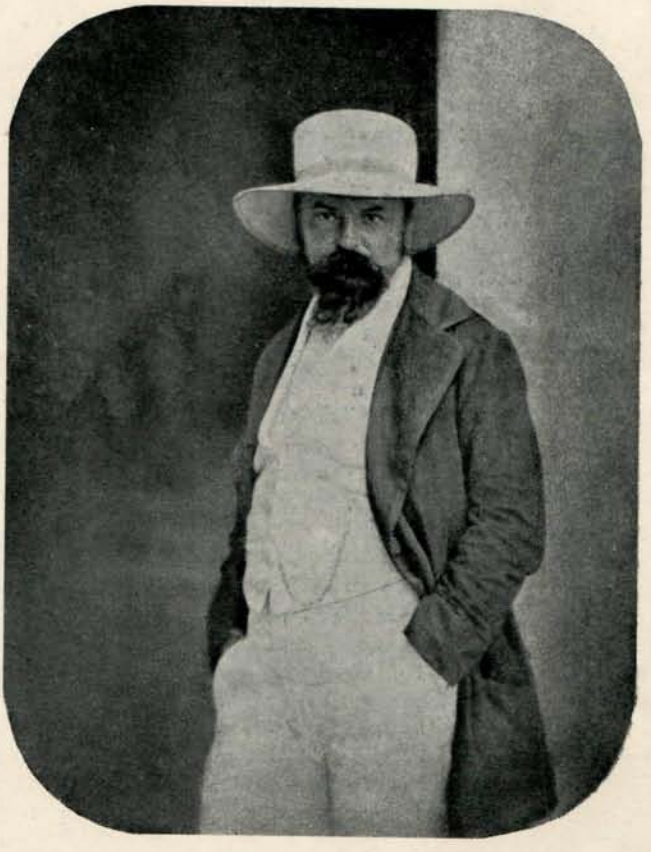
* *Далее зачеркнуто:* тинистой и нечистой

** *Далее зачеркнуто:* о романе Лувэ

*** *Далее зачеркнуто:* Разве, по-вашему, этих симптомов недостаточно, чтоб объявить о полном разложении — либо буржуазный дух погибнет, либо Европа. Что касается меня — я еще верю в старушку.

**** *Далее зачеркнуто:* Именно с этой македонской фалангой, которую открывает Орас и замыкает Де-Ла-Год, мы встречаемся прежде всего.

***** *Далее зачеркнуто:* падения



ГЕРЦЕН
Дагерротип, 1850–1852 гг.
Исторический музей, Москва

матичное; шпик не производит благоприятного впечатления; наоборот, Орас недоволен путами, налагаемыми на прессу, и шпионами; они мешают ему распространяться в кафе и удивлять свой мирок великодушным жестом и смелой фразой.

Беспутство, в буквальном смысле слова, тем менее опасно для нас, что мы в нем рождены. Не забудьте, что дама с жемчугом — русская. Наши столкновения и стычки происходят не с каторжниками и чиновниками префектуры, а с македонской фалангой буржуазии — и именно там господствует Орас.

Мы приближаемся к ним с такой скифской простотой, что ее принимают за лицемерие; ищут в этом двуличия, тогда как здесь лишь заискивание. Но мало-помалу мы замечаем с отвращением такую глубину разложения, какая никогда не снилась нам, среди наших снегов.

Вообще говоря, мы не менее развращены, чем они, но они гораздо более растленны. Мы более виновны в глазах исправительной полиции, они—перед «святым духом».

Вспомните-ка весь зверинец гоголевских героев... Это игроки, пьяницы, лгуны, обжоры, особенно воры—их страсти грубы, животны—вот и всё; лишь в «Цивилизованном помещике» Тургенева я узнаю завуалированный и лукавый разврат Запада. Но и это — гибельный плод разложения дряхлого мира, привитый к дикому стволу не тронутой просвещением жизни. Есть в Петербурге особая среда, где кишит подобный разврат. Это та бюрократия смешанной крови, плод нечистого скрещивания авантюристов всех наций, целые поколения которых набросились на Россию еще во времена Петра I и его преемников—существа без родины, раболепные и терзаемые завистью, самолюбием и цынгой. Но маленькое «Сан-Марино» развращенности не имеет ничего общего с нацией в целом.

Напротив, общая испорченность у нас имеет характер буйства, похвальбы, распутства, бесстыдного, беспорядочного и почти всегда сопровождаемого глубоким невежеством.

Совсем не то на Западе *.

Здесь не только понимают всё, что волнует душу современного человека, но и становятся глашатаями развития и пропаганды всех великих идей, без того, впрочем чтобы это как-либо влияло на поведение.

И именно тут-то и начинается наше смущение. Их язык — это *наш* язык, что с самого начала вводит нас в ошибку; у нас—это язык преследуемого меньшинства, молчаливого масонства, по нему мы узнавали друг друга. Этот язык у нас обязывает, и поскольку пользоваться им небезопасно, на нем попусту не говорят **.

До тех пор пока вы будете принимать людей за открытые книги, пока вы будете оставаться с ними в тех же отношениях, в каких вы бываете с актером в то время, когда он играет, все будет идти хорошо, но не ходите за кулисы. Конечно, нет никакой *необходимости* идти туда. История умеет извлекать ароматические вещества из дурно пахнущих трав; вам незачем ни заглядывать в ее кастрюлю, ни шевелить это гнилое сено — его выкинут, и останется только аромат.

Но, с другой стороны, этого недостаточно для человеческого сердца. Мы ищем другой *общности* с людьми; связи чисто теоретической нам недостаточно, так же как исключительно деловых отношений. Солидарность, общительность, взаимная склонность, врожденное доброжелательство требуют большего, и их требования — что бы там ни говорили — не менее сильны, чем требования эгоизма.

В этом моральном дуализме есть нечто столь отталкивающее, что, будучи тысячи раз обманутыми, мы пытаемся в него более не верить, не допускать, что убеждение и поведение не совпадают, и в этом горький источник для самых ужасных коллизий.

Частично это странное моральное состояние современного мира объясняется бесплодностью революционного учения, о которой мы уже говорили. Это было освобождение, но не свобода; либерализм, вместе с презрением к власти, обучал и способам для избавления от всякого ошейника, от всякой цепи, предоставляя затем

---

* *Далее зачеркнуто:* Цивилизация делает их скрытными и благопристойными.
** *Далее зачеркнуто:* здесь, наоборот, этот язык

людям устраиваться, как знают... Но люди не знали, что делать, ибо они были вольноотпущенниками, а не свободными людьми.

Проанализируйте философию либерализма — это военный устав, это система нападения и защиты; власть не есть деятельная воля народа, направленная против врага. После победы нечего было делать с этой военной наукой*. Во время борьбы всякая теория, которая ей помогает, хороша: это барабанный бой для поднятия духа и для сплочения; это энергичное слово, которое вербует бойцов. Поведение во время войны несложно и непродолжительно; частично оно определяется поведением врага; все прочее заключается в единой и искусной организации. Что же до остального — остальное покрывают чехлом, как Статую свободы в Конвенте.

Когда пришло время открыть статую, увидели, что она не из мрамора, а только из глины. Когда стало нужно воплотить в ряд законов великолепную реторику любви к человечеству, братства народов, республики, демократии, народовластия и полного равенства, тогда с трудом приняли самую жалкую конст⟨итуцию⟩, самую неудобоваримую из всех, когда-либо существовавших, — конституцию 1848 года.

Один лишь принцип был провозглашен — это *всеобщая подача голосов*. Вот животворный и арифметический источник нового общественного договора. Применение всеобщей подачи голосов к наиболее глубоким и наиболее важным вопросам Республики было равнозначно отречению, признанию, что блуждают ощупью. Кто знает какую-либо истину, любит ее, уважает ее и верит в нее — пойдет ли он на улицу спрашивать мнения встречного-поперечного, захочет ли он определить при помощи сложения и вычитания большее или меньшее значение этой своей истины?

Массы, ничего не понимавшие в той политической мешанине, которая происходила в ратуше и Законодательном собрании, инстинктивно поняли всеобщую подачу голосов. Щель, все более и более отделявшая публику от актеров, расширялась, и когда для того, чтобы ее закрыть, уже нехватало ни восточного ковра ламартиновского красноречия, ни трупов *братьев*, умерщвленных в Июньские дни, тогда из глубины этой щели вышел Луи-Бонапарт, протирая заспанные глаза. Все это было так нелепо, что он не мог не стать хозяином положения...

⟨*На этом рукопись обрывается.*⟩

Автограф. ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 20, лл. 87—106.

---

* *Далее зачеркнуто*: это искусство